

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВЯЗЬ

Книга 3

КРОВЬ
НА ПАРТИТУРЕ



Мурат Карадениз

Мурат Карадениз

Кровь на партитуре

<https://litres.ru/74014489>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ленинград, август 1942 года. В день премьеры Седьмой симфонии Шостаковича в филармонии убит скрипач оркестра. Лейтенант НКВД Алексей Ухтомский находит возле тела клочок партитуры со странными знаками — это шифр, уводящий в прошлое.

Расследование ведёт его в 1937 год, где был арестован и расстрелян альтист Марк Лившиц. Он оставил после себя список — имена тех, кто доносил, подписывал приговоры и заметал следы. Среди них — люди, до сих пор стоящие у власти.

Ухтомскому предстоит расшифровать нотный шифр, найти свидетелей, которые ещё живы, и понять, почему убийства в блокадном Ленинграде связаны с чистками тридцать седьмого года. Но чем ближе он к разгадке, тем опаснее становится его положение.

Генерал Глухов, старый враг, снова встаёт на пути. Успеет ли Ухтомский обнародовать правду или его имя пополнит список тех, кому помешали?

Содержание

ПРОЛОГ. «Последний аккорд»	4
ЧАСТЬ I. «ДОНОС»	12
Глава 1. «Человек, который выжил в 37-м»	12
Глава 2. «Штрихи шифра»	19
Глава 3. «1937. Красная нить»	27
Глава 4. «Осведомитель за пультом»	34
Глава 5. «Наши дни. Конв	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Мурат Карадениз

Кровь на партитуре

ПРОЛОГ. «Последний аккорд»

Время: 9 августа 1942 года, 18:30

Место: Ленинград, Большой зал филармонии, артистический вход

Блокада | Алексей Ухтомский

За час до премьеры город пах иначе.

Не гарью — небо над Ленинградом в тот вечер было чистым, впервые за много недель. Немцы не бомбили. Словно тоже слушали. Пахло пылью, старым деревом, воском, которым натирали паркет, и ещё чем-то неуловимым — надеждой. Люди стояли в очереди у входа за час до начала. Не по талонам, не по разрядке — по приглашениям. Худые, бледные, в пальто, которые висели мешками, с глазами, ввалившимися от голода. Но живые.

Алексей Ухтомский не должен был быть здесь.

Он числился в комиссии по контролю за порядком — формальность, которой поручили наблюдать «за соблюдением дисциплины среди гражданских лиц». Его настоящая работа была другой: он искал правду о фарфоре, о янтаре, о

людях, которые убили Кедрина и Гольдштейна. О Глухове. Но сегодня, девятого августа, ему приказали быть в филармонии. Сам полковник Сорокин сказал: «Заткнитесь и стойте у входа, Ухтомский. Это историческое событие. Не дай бог, что-то случится».

Что-то случилось.

Он прошёл через служебный вход за пятнадцать минут до того, как объявили третий звонок. В коридоре было тесно — узко, низкий потолок, запах махорки и дистрофического пота. Музыканты в накрахмаленных воротничках (некоторым воротнички пришлось подшивать — шеи стали тоньше) стояли у стен, переговаривались шёпотом. Мимо пробежал администратор с красным лицом.

Алексей остановил его за локоть.

— Что случилось?

— Скрипач.

— Что со скрипачом?

Администратор указал в конец коридора.

Там была дверь в маленькую гримёрку — такую маленькую, что в ней помещался только стул, пюпитр и вешалка. Дверь была приоткрыта. Алексей толкнул её плечом.

Внутри лежал человек.

Он узнал его — Евгений Вайнштейн, второй пульт первых скрипок, пожилой, за пятьдесят, с седыми висками и длинными пальцами музыканта. Вайнштейн лежал на боку, поджав колени к животу — поза, в которой блокадники часто

умирали от голода. Но Алексей сразу понял: не голод. Под головой была лужа крови — тёмной, уже густеющей, с запахом железа. Горло перерезано. Не ножом — чем-то тонким, может, струной. Аккуратно, почти хирургически. Только один разрез — и всё.

Рядом с телом, на полу, валялся клочок нотной бумаги.

Алексей опустил на корточки, не касаясь лужи. Поднял. Бумага была старой, с жёлтым обрезом, вырванной из партитуры. Ноты — знакомые, из второй части Седьмой симфонии, того самого места, где вступают струнные после долгой паузы. Но поверх нот, поверх типографских значков, кто-то карандашом нарисовал другие знаки. Не музыкальные. Алексей не понял их сразу — похоже на шифр. Буквы? Нет. Ноты, перевёрнутые, с точками, с цифрами...

Сбоку, на полях, чья-то рука вывела карандашом:

«Тот самый шифр».

И ниже, мельче: *«Спросите у альтиста Лившица. 1937».*

Алексей замер.

Фамилия Лившиц была ему знакома. Он видел её в деле № 47-А. Альтист, арестованный в 1937-м, осуждённый как враг народа. Связи с Шостаковичем? С Глуховым?

Сзади послышались шаги.

— Товарищ лейтенант, — голос Савельева, его единственного оставшегося союзника. — Сюда идут. Контрразведка. Уже на входе.

— Сколько у нас времени?

— Две минуты. Может, три.

Алексей сунул клочок партитуры во внутренний карман гимнастёрки. Встал, выпрямился. Взглянул на Вайнштейна. Тот лежал с открытыми глазами — серыми, почти прозрачными, словно смотрел в потолок и видел там что-то, чего Алексей не мог разглядеть.

— Что он делал перед смертью? — спросил он у администратора, который всё ещё маячил в дверях.

— Репетировал, — заикаясь, ответил тот. — Один. Потом я услышал звук... какой-то всхлип. Прибежал — а он уже... Он что-то шептал. Я не разобрал. Про «тридцать седьмой», про «Лившица». И ещё... что-то про меч.

— Про меч?

— Может, показалось. Я испугался, побежал за вами.

Алексей обернулся к Савельеву.

— Забирай администратора. В мой кабинет. Чтобы молчал. И чтобы никто не знал, что мы здесь были.

— А тело?

— Пусть контрразведка забирает. Нам нельзя светиться.

— А вы?

— Я иду слушать симфонию.

Он вышел в коридор, на ходу застёгивая гимнастёрку. Из-за угла уже доносились голоса — строгие, с металлическими нотками. Особый отдел. Люди Глухова.

Алексей свернул в боковой проход, прошёл через пустой оркестровый запасник, поднялся на лестницу. В большой зал

он вошёл с другой стороны, смешавшись с толпой зрителей. Никто не обратил внимания — все смотрели на сцену.

Там уже сидели музыканты. Сто двадцать человек. Некоторые держали инструменты, как оружие. Некоторые — как детей. В центре, за пультом, стоял дирижёр — Карл Ильич Элиасберг, худой, бледный, но с ясными глазами. Он поднял палочку.

Тишина стала такой плотной, что Алексей услышал, как бьётся его собственное сердце.

Палочка опустилась.

И началась музыка.

Первый аккорд Седьмой симфонии — это не аккорд. Это шаг. Одинокий, тяжёлый, как дыхание человека, который идёт по снегу. Потом второй. Потом дробь, нарастающая, въедающаяся в кожу. Тема нашествия. Алексей стоял у стены, прижавшись спиной к колонне, и чувствовал, как музыка входит в него, как будто написана про него. Про Ленинград. Про всех, кто умер. Про тех, кто ещё жив.

Он думал о Вайнштейне. О том, почему его убили за час до премьеры. О клочке партитуры, который лежал сейчас у сердца, под гимнастёркой, прижатый к груди. О шифре. О Лившице. О 1937-м.

Музыка гремела. Оркестр играл так, будто от этого зависела их жизнь. Так, наверное, играют только те, кто знает, что завтра может не наступить.

Алексей перевёл взгляд на сцену.

Над оркестром, над дирижёром, над всеми ними висел портрет Сталина. В сером костюме, с усами, с прищуренными глазами. Портрет словно наблюдал за музыкой, оценивал, одобрял.

Алексей отвёл глаза.

В кармане — блокадный паёк, сто пятьдесят граммов хлеба, больше не давали. И клочок партитуры, который мог стоить ему жизни.

Симфония гремела.

Люди плакали.

Алексей не знал, что через час он найдёт ещё одно тело — не Вайнштейна, другого. Что шифр приведёт его к альтисту, который выжил в 1937-м, и к тайне, которая была страшнее янтаря. Что Глухов снова будет на шаг впереди.

Пока он знал только одно: музыка не врёт. А люди — всегда.

Палочка дирижёра замерла в воздухе. Тишина. Потом — гром аплодисментов. Люди вставали, падали, снова вставали. Кто-то крестился. Кто-то прижимал руки к груди.

Алексей развернулся и пошёл к выходу.

Сзади его окликнул Савельев, запыхавшийся, с красными глазами.

— Товарищ лейтенант, там... контрразведка спрашивает про вас. Говорят, вы были в гримёрке.

— Буду, — сказал Алексей. — Но не сейчас. Сейчас я должен понять, что это.

Он похлопал по карману гимнастёрки.

Савельев понял.

— А Вайнштейн?

— Похоронят. Скажут — дистрофия.

— Но не дистрофия же...

— Мы знаем. И это всё, что мы пока можем.

Они вышли на улицу. Сумерки сгущались. Над Невой висела луна — жёлтая, круглая, похожая на медаль. Город слушал тишину после музыки.

Алексей закурил последнюю папиросу.

Перед глазами стоял клочок партитуры и слова, написанные карандашом: «*Спросите у альтиста Лившица*».

Лившиц умер в 1938-м. Не у кого спрашивать. Кроме одного человека — того, кто знал Лившица лично. Кто сидел с ним в одной камере. Кто вышел на свободу в 1941-м, когда началась война, и теперь, возможно, был среди тех, кто играл сегодня в оркестре.

Алексей докурил, затушил о каблук.

— Савельев, мне нужен список музыкантов. Полный. Кто пришёл, кто не пришёл, кто заменил кого. И адреса.

— Это много времени.

— У нас есть эта ночь.

Они сели в машину.

Филармония осталась позади, окна ещё светились, но публика расходилась. Алексей смотрел на людей, на их лица — измождённые, но просветлённые. Они вынесли эту музыку в

себе, как выносили хлеб из пекарен.

Теперь предстояло вынести правду.

Кусок партитуры жёг грудь.

Алексей достал его, развернул при свете уличного фонаря — машина ехала медленно, тряслась на выбоинах. Шифр. Определённо шифр. Ноты с точками, перевёрнутые, с цифрами. Может, даты? А может, имена. Тот самый шифр, который Вайнштейн нёс в себе и не успел передать.

— Кто вы, Евгений Вайнштейн? — спросил Алексей вслух.

Ответа не было.

Только ветер свистел в разбитых окнах домов, и где-то далеко, за городом, ухали зенитки.

Премьера кончилась.

Начиналось расследование.

ЧАСТЬ I. «ДОНОС»

Глава 1. «Человек, который выжил в 37-м»

Время: 10 августа 1942 года, 12:00

Место: Ленинград, Смольный, кабинет Алексея Ухтомского

Блокада | Алексей Ухтомский

Кабинет Алексея находился в подвале — бывшая кладовка, которую в начале войны переделали под служебное помещение. Стены голые, на столе — керосиновая лампа, телефон, стопка бумаг. Пахло сыростью, махоркой и ещё чем-то сладковатым — столярным клеем, который выдавали вместо баланды. Алексей не спал восемнадцать часов. Вчерашняя премьера, убийство Вайнштейна, клочок партитуры с шифром — всё смешалось в голове в одну тягучую, липкую массу.

Он сидел за столом, перебирая списки музыкантов. Савельев принёс их вчера в полночь, когда Алексей уже начал клевать носом. Теперь он водил пальцем по строчкам, выискивая знакомые фамилии. Лившиц — мёртв, 1938 год, ла-

герь под Воркутой. Вайнштейн — мёртв, вчера, горло перерезано. Островский — жив, но его тоже скоро убьют, Алексей это чувствовал.

В дверь постучали, не дожидаясь ответа.

На пороге стоял полковник Сорокин — новый начальник особого отдела, которого прислали из Москвы неделю назад. Глухов уехал в столицу, получил повышение, но оставил после себя длинные руки. Сорокин был его человеком. Алексей знал это по тому, как новый начальник смотрел — не в глаза, а куда-то сквозь, будто прикидывал, сколько стоят пуговицы на гимнастёрке.

— Ухтомский, — Сорокин вошёл, не снимая фуражки. — Я по поводу вчерашнего. В филармонии.

— Слушаю.

— Дело об убийстве скрипача закрыто.

Алексей медленно поднял голову.

— Закрыто? Его горло перерезали за час до начала концерта. Это не дистрофия.

— Это дистрофия. — Сорокин положил на стол бумагу с печатью. — Заключение врача. Сердечная недостаточность на фоне алиментарной дистрофии. Падение на острый предмет.

— На какой предмет? В гримёрке не было ничего острого. Кроме струн.

— Струны не острые, товарищ лейтенант. — Сорокин усмехнулся, но глаза остались холодными. — Вы что, хотите

сказать, что кто-то убил скрипача? Зачем? Из-за музыки?

— Из-за того, что он знал.

— Что именно?

Алексей промолчал.

Ключок партитуры лежал у него в кармане — он не решился положить его в сейф, носил с собой, как талисман. Шифр, который он ещё не разгадал. Имя Лившица, всплывшее из 1937-го.

— Я даю вам трое суток, — сказал Сорокин. — Неофициально. Проверите свои подозрения. Ничего не найдёте — забудете. Найдёте — доложите мне. Но если вы влезете в то, во что не следует, я лично отправлю вас в штрафбат. Вопросы?

— Никак нет.

— Свободны.

Сорокин вышел.

Алексей подождал, пока шаги стихнут в коридоре, и только тогда достал из кармана ключок партитуры. Развернул на столе. Ноты, типографские, чёрные на жёлтой бумаге. Поверх них — карандашные знаки. Кто-то рисовал их торопливо, почти нервно. Ноты с точками сверху — может, буквы? Перевернутые — другое значение. Цифры — даты? Координаты?

Он перевернул листок.

На обороте, в самом углу, была ещё одна надпись, выцветшая, почти неразличимая. Алексей поднёс к лампе.

«Спросите у Вайнштейна про 37-й. Он знает, кто убил

Лившица».

Почерк был не Вайнштейна — другой, более размашистый. Может, тот, кто оставил шифр? Или тот, кто убил?

Алексей спрятал листок обратно.

Он поднялся, надел фуражку, застегнул шинель.

Выходя из кабинета, столкнулся с Савельевым.

— Вы куда, товарищ лейтенант?

— В архив. Мне нужна справка на Вайнштейна. И на Лившица.

— Сорокин сказал — трое суток.

— Я уложусь.

Архив особого отдела располагался на третьем этаже Смольного, в бывшей бальной зале. Сейчас здесь стояли железные шкафы, пахло плесенью и крысиным ядом. Старший архивариус — тщедушный старик в очках с треснувшей дужкой — провёл Алексея в дальний угол.

— Дела 1937 года? — переспросил он, шепелявя. — Многие уничтожены. По приказу.

— Чьему?

— Не моему.

Он достал с полки тощую папку, подул на неё, сдувая пыль. Протянул Алексею.

— Вот. Лившиц Марк Борисович, 1905 года рождения. Альтист. Арестован 15 декабря 1937 года.

Алексей открыл папку.

Внутри — несколько листов. Донос. Подписан неразбор-

чиво, но на полях — пометка «доверенное лицо». Протокол допроса. Лившиц ничего не признал, но подписал всё, что ему дали. Приговор: расстрел. Исполнен 12 марта 1938 года.

Алексей пролистал дальше.

В самом конце — приписка синими чернилами, сделанная явно позже, другим почерком:

«Связь с Шостаковичем Д.Д. Репетиции в 1936–1937 гг. Опасен. Рекомендовано изолировать».

Подпись — неразборчиво. Но Алексей узнал этот размашистый росчерк. Глухов.

Он закрыл папку.

— А Вайнштейн? — спросил архивариуса.

— Евгений Вайнштейн? — старик покачал головой. — Его дело уничтожено. В 1941 году, при бомбёжке. Осталась только карточка.

— Дайте карточку.

Старик принёс маленькую картонную карточку — учётную, с типографским штампом. Фамилия, имя, отчество, год рождения, профессия. И в графе «особые отметки» — *«Репетировал с Шостаковичем. Проверялся в 1937 году. Освобождён за недоказанностью».*

Освобождён. Вайнштейн выжил в 37-м. А Лившица расстреляли.

Почему одного освободили, а другого нет? Потому что Вайнштейн кого-то назвал? Потому что он дал показания?

Алексей убрал карточку в карман.

— Вы не знаете, кто ещё из музыкантов проверялся в 1937 году?

— Я не помню, товарищ лейтенант. — Старик снял очки, протёр стёкла. — Война, всё горит. Но если поискать в других папках...

— Ищите.

Он вышел из архива.

В коридоре его ждал Савельев — бледный, взволнованный.

— Товарищ лейтенант, я проверил список музыкантов из филармонии. Тот, кто пришёл на замену Вайнштейну вчера. Его зовут Коган. Он раньше не играл в оркестре. Прибыл из эвакуации три дня назад.

— И?

— И он знал Лившица. Они вместе учились в консерватории.

Алексей похолодел.

— Где он сейчас?

— В гостинице. На улице Рубинштейна. Сказал, что болен и не может играть.

— Едем.

Они вышли из Смольного. Над городом висело низкое серое небо, собирался дождь. Алексей сжимал в кармане карточку Вайнштейна и думал о 1937 годе.

Тогда он был молод, только начинал в НКВД. Не верил в доносы. Думал, что правда всегда побеждает.

Теперь он знал: правда побеждает только у тех, кто жив. А мёртвые молчат.

Но иногда — очень редко — есть тот, кто выжил и говорит.

Вайнштейн был живым свидетелем. Его убили, чтобы он не назвал имён. Коган — следующий.

Алексей забрался в кабину.

— Гони, — сказал шофёру. — На Рубинштейна. Живо.

Машина чихнула и поехала.

Впереди, за мокрым стеклом, проплывали руины, очереди, редкие прохожие. Блокадный Ленинград жил своей жизнью, не зная, что в нём прячется убийца.

Или убийцы.

Алексей знал одно: он найдёт их.

Даже если это будет стоить ему свободы. Или жизни.

Глава 2. «Штрихи шифра»

Время: 11 августа 1942 года, 10:00

Место: Ленинград, Петроградская сторона, квартира вдовы скрипача

Блокада | Алексей Ухтомский

Дом на Петроградской стороне был старым, ещё дореволюционным, с облупившейся штукатуркой и подъездной аркой, забитой досками. Алексей поднялся на третий этаж по лестнице, которая скрипела так, будто предупреждала жильцов. Дверь в квартиру Вайнштейна оказалась незапертой — висячий замок висел на одной петле, воровать было нечего.

Внутри пахло голодом. Тем специфическим запахом, который Алексей уже научился узнавать с закрытыми глазами: кислая капуста, остывшая зола, старый пот и ещё что-то сладковато-тошнотворное — разложение живого тела, которое ещё не умерло, но уже не живёт.

Вдова сидела на кухне, уткнувшись подбородком в сложенные на столе руки. Ей было лет сорок, но выглядела она на все семьдесят. Волосы седые, нечёсанные, лицо серое, как зола, глаза запали так глубоко, что в них можно было спрятать монету. На ней было мужское пальто — мужа, наверное, — перетянутое верёвкой на талии, которой больше не было. — Вы из милиции? — спросила она, не поднимая головы.

— Лейтенант Ухтомский. Особый отдел.

— Женя убили. Я знаю. Не дистрофия.

— Откуда вы знаете?

Она подняла голову. Глаза её были сухими — слёзы кончились ещё вчера, когда тело унесли.

— Потому что он мне сказал. Перед уходом. Сказал: «Если я не вернусь, они меня убили. Не верь никому, кроме лейтенанта Ухтомского».

Алексей замер.

— Он назвал мою фамилию?

— Сказал: «Придёт человек из НКВД. Ухтомский. Ему можно верить». Я не знала, верить ли вам. Но вы пришли. Значит, он не ошибся.

Алексей сел на табурет напротив — единственный, который не был сломан. Стол был пуст, только кружка с остывшим чаем и горбушка хлеба, которую женщина, видимо, берегла на обед.

— Что он вам сказал?

Вдова полезла под стол, достала свёрток — тряпичный, перевязанный бечёвкой. Положила на стол, развязала.

Внутри была партитура.

Не клочок — целая тетрадь, сшитая из нотных листов, с потрёпанными краями и выцветшими чернилами. Алексей узнал почерк — нотный, музыкальный, но с какими-то странными значками на полях. Те же знаки, что на клочке из гримёрки.

— Что это?

— Партитура Седьмой симфонии. Шостаковича. Женя репетировал по ней. Но это не просто ноты. Посмотрите.

Алексей раскрыл тетрадь.

На каждой странице — правки. Не дирижёрские пометки, не указания для оркестра. Кто-то вписывал дополнительные знаки поверх типографского текста. Ноты с точками, перевернутые, с цифрами. Шифр.

Он перелистнул на середину. Одна фраза была обведена красным карандашом. Под ней — подчёркивание и стрелка, ведущая к полю. На поле — несколько значков, которые Алексей, имевший музыкальное образование (до войны он учился в консерватории, на историко-теоретическом факультете), попытался прочесть как ноты.

До — ре — ми — до. Фа — соль — ля — си-бемоль.

Если перевести в буквы (до = Д, ре = Р, ми = М, фа = Ф, соль = С, ля = Л, си-бемоль = В), получалось: ДРМД — ФСЛВ. Бессмыслица.

Но если читать не нотами, а интервалами — шагами между звуками...

Алексей закрыл глаза, представил клавиатуру. До-ре — секунда (2). Ре-ми — секунда (2). Ми-до — терция вниз (3). Получалось 2-2-3. Фа-соль — секунда (2). Соль-ля — секунда (2). Ля-си-бемоль — секунда (1, полтона). Дальше...

— Это не буквы, — сказал он вслух. — Это цифры. Имена. Дата.

— О чём вы? — спросила вдова.

— Ваш муж знал шифр. Кто-то передал ему эту партитуру. Он хотел расшифровать.

Он открыл глаза, перечитал обведённую фразу ещё раз. На этот раз, медленно, выписывая интервалы на бумаге, которую достал из кармана.

23 – 3 – 12 – 7 – 15 – 13 – 6...

Буквы алфавита? 23 = Х, 3 = В, 12 = К, 7 = Ё? Нет, для Ё слишком странно.

Алексей потерял виски. Голова гудела от недосыпа, от голода, от напряжения. Вдова терпеливо ждала, не мешала, только смотрела на него своими провалившимися глазами.

— Лившиц, — вдруг сказал он. — Буквы Л — И — В — Ш — И — Ц. 13 — 10 — 3 — 26 — 10 — 24? Не сходится.

— Что вы ищете? — спросила вдова тихо.

— Список, — ответил Алексей, не поднимая головы. — Ваш муж говорил про список?

Она побледнела ещё сильнее, если это было возможно.

— Говорил. Сказал: «Лившиц знал список. Тот самый. Из 37-го». Я не поняла, о чём он. Спросила — каком списке? Он не ответил. Только повторил: «Лившиц знал».

Алексей пролистал партитуру дальше. В конце тетради, на последней странице, были вписаны от руки несколько тактов — не из Седьмой симфонии, из какой-то другой, незнакомой ему. И над ними — три слова, написанные нотами.

Он перевёл интервалы.

«М — Е — Ч — ?».

Меч.

Не буква, слово. Меч. Тот самый знак, который он видел на шее Кедрина, на фарфоровых тарелках, на янтарных ящиках. Символ Глухова. Или тех, кто за ним стоял.

Алексей закрыл тетрадь.

— Я забираю это.

— Забирайте. — Вдова не сопротивлялась. — Женя хотел, чтобы вы нашли правду.

— А вы? Вы что хотите?

— Я хочу узнать, кто убил моего мужа. И почему.

Она помолчала, потом добавила тихо, почти шёпотом:

— В ночь убийства к нему приходили. Я слышала голоса. Двое. Один — молодой, другой — постарше. Молодой сказал: «Глухов велел передать — молчи, если хочешь жить». А потом они ушли. А через час Женя ушёл в филармонию. И не вернулся.

— Вы узнали бы того, кто говорил?

— Голос — да. Молодой, с хрипотцой. И ещё он кашлял. Может, туберкулёз.

Алексей записал в блокнот: *«Глухов. Курьер — молодой, кашель»*.

— Вы не боитесь оставаться одна? — спросил он. — Они могут вернуться.

— Боюсь. — Вдова посмотрела на дверь, на заколоченное окно. — Но умирать всё равно. Хлеба нет. Карточки отобра-

ли, когда Женю убили. Сказали — теперь вы не иждивенка, работайте.

— Я пришлю паёк. И охрану.

— Не надо. — Она покачала головой. — Чужие люди в доме — лишние глаза. Я сама.

Алексей хотел возразить, но не стал. Вдова была права. Глухов мог узнать, что он был здесь, и тогда ей точно не жить.

Он поднялся, спрятал тетрадь в полевую сумку.

— Спасибо.

— Не за что.

Он вышел на лестницу, спустился во двор.

Машина ждала у подъезда, Савельев сидел на пассажирском сиденье, курил.

— Товарищ лейтенант, вы нашли что-то?

— Нашёл. — Алексей сел в кабину, захлопнул дверцу. —

Партитуру с шифром.

— И что в ней?

— Пока не знаю. Но Вайнштейн говорил вдове про список. Тот самый, из 37-го. Лившиц знал его.

— Какой список? Фамилии?

— Может, имена тех, кто доносил. Или тех, кого убили. Или тех, кто воровал. — Алексей посмотрел на сумку, где лежала тетрадь. — Надо расшифровать.

— Это долго.

— У нас трое суток.

Савельев завёл мотор.

— Куда?

— В Эрмитаж. В Павильонный зал. Надо спрятать это в надёжном месте.

Машина тронулась.

Алексей смотрел в окно на проплывающие руины, на людей, которые тащили саночки с дровами, на детей, игравших в снежки среди развалин. Город умирал, но не сдавался.

Как и он.

Эрмитаж встретил их тишиной. Музей был закрыт для посетителей, только сотрудники и редкие военные. Алексей прошёл через служебный вход, поднялся на второй этаж, миновал пустые залы.

Павильонный зал — почти такой же, как в 1941 году, когда он нашёл тело Кедрина. Те же колонны, тот же паркет, тот же холод. И часы «Павлин» — гигантская клетка из бронзы и хрусталя, застывшая в вечной готовности прокукарекать.

Алексей подошёл к часам, опустил на колени, заглянул в углубление под механизмом. Там, за латунной пластиной, был тайник. Он сам прятал там копии документов в 1941-м.

Пластина откручивалась с трудом — замёрзла, покрылась налётом. Алексей поддел её ножом, отогнул.

Внутри — пусто. Старые бумаги он давно забрал.

Он достал тетрадь с партитурой, завернул в промасленную ткань, положил в тайник. Прикрутил пластину на место.

— Теперь здесь будет лежать правда о 1937 годе, — сказал он. — Когда-нибудь её найдут.

Савельев, стоявший у входа, кашлянул.

— Товарищ лейтенант, вы верите, что правда восторжествует?

— Не знаю. Но я верю, что она не исчезает.

Он выпрямился, отряхнул колени.

— Всё. Поехали дальше. У нас ещё два с половиной дня.

Они вышли из зала.

Часы «Павлин» молчали.

Но когда-нибудь — Алексей знал — они заговорят.

Глава 3. «1937. Красная нить»

Время: ноябрь 1937 года, 22:00

Место: Ленинград, общежитие Ленинградской консерватории, комната Марка Лившица

1937 | Марк Лившиц, молодой Шостакович

В комнате было холодно. Не так, как в блокаду — тогда холод станет убийцей. В ноябре 1937-го просто не топили по-настоящему, сэкономили уголь. Но пальцы всё равно мерзли, и чернила густели, и бумага становилась хрупкой, как осенний лист.

Марк Лившиц сидел за маленьким письменным столом у окна. За окном — тьма, только фонарь на углу светит жёлтым, тусклым светом. На столе — лист нотной бумаги, чернильница, перо. Он писал письмо. Не обычное — шифрованное.

Пальцы выводили ноты. Не мелодию — последовательность интервалов, которые нужно было читать не как звуки, а как шаги. Каждый шаг — буква. Каждая фраза — слово. Так учил его старый профессор теории музыки, который эмигрировал в 1924-м, увёз с собой секрет. Секрет, который теперь мог спасти жизнь. Или разрушить её.

В дверь постучали — негромко, условным стуком: два коротких, пауза, три длинных. Свой.

— Войдите.

Вошёл Дмитрий Шостакович. Молодой, известный, но уже уставший — под глазами тени, плечи ссутулены, пальцы нервно теребят край пиджака. Он часто приходил к Лившицу в последние месяцы. Искал покоя. Или просто того, кто не смотрит на него как на врага народа.

— Ты ещё не спишь? — спросил Шостакович, садясь на табурет у стены.

— Пишу.

— Письмо?

— Не совсем. — Лившиц повернул лист так, чтобы гость не видел. — Так, мысли.

Шостакович кивнул, не настаивая. Он знал, что Лившиц что-то скрывает. Но не спрашивал. В 1937-м вопросы были опасны. Даже среди друзей.

— Меня вызывали в Союз композиторов, — сказал Шостакович, глядя в пол. — Говорили о «формализме». О «чуждости народу». Сказали, что если я не пересмотрю свои взгляды, могут быть последствия.

— Какие?

— Какие обычно. — Он поднял глаза. — Арест. Лагерь. Или хуже. Ты же знаешь.

Лившиц отложил перо.

— Дмитрий, послушай меня. Ты нужен живым. Музыкае нужен живой. Поэтому ты должен... делать то, что они говорят. Приносить извинения. Переписывать партитуры. Пле-

вать на гордость.

— А ты? Ты бы смог?

— Я — другое дело. Я никто. Альтист в оркестре. Меня арестуют — никто не заметит. Тебя — заметят.

Шостакович горько усмехнулся.

— Заметят? Заметят, чтобы повесить табличку «враг народа» и забыть.

— Не забывают, — тихо сказал Лившиц. — Таблички не забывают. Их вкручивают в могилы.

Повисла тишина.

За стеной кто-то играл на фортепиано — гаммы, заунывные, без конца. В коридоре хлопнула дверь, послышались голоса — пьяные, весёлые. Кто-то ещё не боялся. Или делал вид.

Шостакович встал.

— Я пойду. Завтра репетиция. Не опаздывай.

— Не опоздаю.

У двери он обернулся.

— Марк, будь осторожен. Они ищут красную нить везде. Даже в нотах.

— У меня нет красной нити.

— У всех есть. Даже если её не наденут.

Дверь закрылась.

Лившиц остался один.

Он посмотрел на письмо. Ноты, интервалы, цифры. Слова складывались в строки. В строки — в имена. Те, кто доно-

сил. Те, кого уже арестовали. Те, кого ещё не тронули. Список, который он собирал по крохам — от соседей, от коллег, от случайных разговоров в очередях. Список, который мог взорвать систему. Или похоронить его самого.

Он почти закончил. Оставалось дописать последнюю фразу.

«Если меня арестуют, ищите в альте. Это всё, что я могу оставить».

Он перечитал, свернул лист, сунул под стопку других бумаг.

На стене висел альт — старый, итальянский, работы мастера Гальяно. Лившиц берег его как зеницу ока. Инструмент достался ему от профессора, который эмигрировал, не сумев взять альт с собой — слишком большая ценность, заметят на границе.

Он снял альт со стены, провёл пальцем по струнам. Те отозвались глухим, печальным звуком.

— Ты сохранишь мои секреты, — сказал он инструменту.
— Лучше, чем люди.

Он хотел положить письмо в футляр — туда, где хранились запасные струны и канифоль. Но что-то остановило. Если его арестуют, обыщут всё. Найдут. Уничтожат. Нужно спрятать глубже.

Он опустился на колени, заглянул под кровать. Там стоял чемодан — старый, кожаный, с медными уголками. Лившиц открыл его, достал стопку чистых нотных листов. Сунул

письмо в середину. Потом закрыл чемодан, запер на ключ.

Ключ положил в карман пиджака.

Лёг спать, не раздеваясь.

Ночью ему приснился кошмар. Палачи в масках, длинные столы, бумаги, подписи. Глухов — он никогда не видел его в лицо, но знал, как выглядит: высокий, лысеющий, с холодными глазами. Глухов смотрел на него из сна. Улыбался.

— Вы думаете, спрячете, — сказал он. — Мы всё найдём.

Лившиц проснулся в холодном поту.

Часы показывали пять утра.

За окном ещё было темно, но в коридоре уже слышались шаги. Тяжёлые, сапоги. Не студенты — у студентов ботинки, которые шаркают. Эти топали, как солдаты.

Лившиц вскочил, натянул брюки.

Шаги остановились у его двери.

— Открывайте! По приказу НКВД!

Он не побежал к двери. Схватил ключ с тумбочки, сунул в карман брюк. Подскочил к чемодану, достал письмо — не успевает спрятать, слишком много бумаг, слишком долго. Рванул к альту. Сорвал струны, открутил гриф. Засунул письмо внутрь, под деку. Закрутил гриф обратно — криво, но держится.

Дверь вылетела с ноги.

В комнату ворвались двое в штатском. За ними — третий, в форме, с погонами майора. Тот самый. Глухов.

— Марк Борисович Лившиц? — спросил он, не здороваясь.

ясь.

— Да.

— Вы арестованы. По обвинению в антисоветской агитации.

— За что?

— Знаете за что.

Глухов кивнул штатским. Те взяли Лившица под руки, вывели в коридор.

— Я могу взять свои вещи? — спросил Лившиц.

— Ваши вещи — теперь государственные.

— Инструмент. Альт. Он не мой — консерватории.

Глухов посмотрел на альт, висящий на стене.

— Хорошо. Инструмент оставьте. Кому-нибудь пригодится.

Они поволокли его к лестнице.

В коридоре уже стояли люди — соседи, зеваки, кто-то крестился, кто-то отворачивался. Из соседней комнаты выглянул молодой парень, студент-виолончелист, с которым Лившиц репетировал вчера.

— Марк Борисович! — крикнул он.

Лившиц успел выкрикнуть, прежде чем ему зажали рот:

— Альт! Сохрани альт! Там... то, что спасёт других!

Студент побледнел, но кивнул.

Глухов усмехнулся.

— Не спасёт, — сказал он тихо, так, чтобы слышал только Лившиц. — Никто никого не спасает.

Лестница, улица, машина.

Лившиц смотрел на окна консерватории, которые проплывали мимо. На четвёртом этаже горел свет — может, кто-то уже рылся в его комнате, выворачивал чемоданы, искал письмо.

Не нашли бы.

Альт остался у студента. Письмо — внутри.

Шанс на правду — тоже.

Но не при его жизни.

Он закрыл глаза.

Через четыре месяца его расстреляют. В 1942-м Вайнштейн, которому студе

нт передал альт, расшифрует письмо. Поймёт, что Лившиц знал список. И убьют Вайнштейна, чтобы он не назвал имён.

Но письмо не исчезнет.

Оно будет ждать своего часа.

Как и правда.

Глава 4. «Осведомитель за пультом»

Время: 12 августа 1942 года, 14:00

Место: Ленинград, здание Радиокomiteта, репетиционная комната оркестра

Блокада | Алексей Ухтомский

Радиокomiteт размещался в здании на Итальянской улице — старом, с толстыми стенами и высокими потолками. Внутри было холодно, как в склепе, но музыканты играли. Им не платили, не давали дополнительных пайков — они просто выходили к микрофонам и играли, потому что без музыки город мог умереть раньше, чем от голода.

Алексей пришёл сюда с Савельевым. В кармане — список музыкантов, которые знали Лившица. В голове — вопросы, на которые никто не хотел отвечать.

Вахтёрша — старуха в ватнике и платке — долго смотрела на удостоверение, потом махнула рукой:

— Вторая студия. Только они сейчас репетируют. Не шумите.

Вторая студия оказалась маленьким залом с облупившимися стенами и потрескавшимся паркетом. В центре — стулья, пюпитры, инструменты в чехлах. Музыкантов было че-

ловек пятнадцать — кто-то настраивал скрипки, кто-то дремал, уронив голову на руки. Все бледные, худые, с ввалившимися глазами. Блокадные лица.

Алексей прошёл вперёд, показал удостоверение.

— Я ищу Григория Островского.

Молодая скрипачка кивнула в угол.

— Вон он. У окна.

Островский сидел на подоконнике, прижавшись спиной к заколоченной раме. Ему было под пятьдесят — седой, с морщинистым лицом и длинными пальцами музыканта. Виолончель стояла рядом, в футляре, прислонённая к стене. Он поднял голову, увидел форму НКВД и побледнел.

— Вы ко мне?

— Поговорить надо.

— О чём?

— О Марке Лившице. И о 1937-м.

Островский попытался встать, но ноги не слушались — затекли, наверное, от долгого сидения. Алексей помог ему подняться. Рука под пальто была тонкой, как сухая ветка.

Они вышли в коридор. Савельев остался у дверей, чтобы никто не подслушал.

— Вы знали Лившица, — сказал Алексей без предисловий. — Вы вместе репетировали в 1937-м.

— Знал. — Островский смотрел в пол, на трещины в линолеуме. — Мы играли в одном оркестре. Он был альтистом. Хорошим.

— Его арестовали. Вас — нет.

— Меня не за что было арестовывать.

— А его — за что?

Островский поднял голову. Глаза его были мутными — то ли от голода, то ли от страха.

— Он знал... то, что не нужно было знать.

— Что именно?

— Не могу сказать.

— Не можете или не хотите?

— Не могу. Умру — скажу.

Алексей достал из кармана клочок партитуры — тот самый, с шифром. Протянул Островскому.

— Это вы писали?

Виолончелист взял листок дрожащими пальцами. Посмотрел, покачал головой.

— Не я. Но я знаю, кто. Вайнштейн. Он рисовал эти знаки на своей партитуре. Говорил, что это «красная нить».

— Что значит «красная нить»?

— Связь. Между 1937-м и... сейчас. — Островский вернул листок. — Вайнштейн говорил, что Лившиц знал список. Тот, по которому арестовывали. И что этот список не уничтожили. Его спрятали.

— Где?

— Не знаю. Вайнштейн не сказал. Боялся, что я... — Он запнулся.

— Что вы? Донесёте?

Островский промолчал.

Алексей смотрел на него долго, изучающе. Человек, который выжил в 1937-м. Который не был арестован, хотя знал Лившица. Который до сих пор работает в оркестре, никем не тронутый. Либо он невиновен, либо очень хорошо заметал следы.

— Вы были осведомителем? — спросил Алексей прямо.

Островский побледнел ещё сильнее. Руки его затряслись.

— Я... я не доносил. Я просто... играл.

— Играли и смотрели. И слушали. И запоминали. А потом рассказывали.

— Нет!

— Тогда почему вы живы, а Лившица расстреляли?

— Потому что я был нужен! — выкрикнул Островский. — Мне нужен был альт! Лившица... Лившица убили, а его альт остался. Я взял его, чтобы сохранить. Там письмо. Внутри. Я не знал, что оно там, пока Вайнштейн не сказал.

— Какое письмо?

— Не знаю. Я не читал. Я только хранил. А потом... потом пришли люди Глухова. Забрали альт. Сказали — молчи, и будешь жить.

— Вы отдали альт?

— А что мне оставалось? Они убили бы меня.

— Они убьют вас всё равно. Вы — свидетель.

Островский закрыл лицо руками.

— Я не хотел. Я просто... выживал.

Алексей не ответил.

Он повернулся и пошёл к выходу. Савельев двинулся следом.

В дверях Алексей обернулся.

— Не уезжайте никуда, Островский. Мы ещё поговорим.

— Куда я уеду? Блокада.

Алексей вышел на улицу.

В лицо ударил холодный ветер. С Невы тянуло гарью — где-то горели склады, и чёрный дым стелился над крышами.

— Он врёт, — сказал Савельев. — Я видел его глаза.

— Знаю.

— Заберём его?

— Пока нет. Пусть думает, что мы ему поверили. А ночью поставим слежку.

Они сели в машину.

Время: 13 августа 1942 года, 02:00

Место: Ленинград, Итальянская улица, коммуналка Островского

Блокада | Дежурный опер

Алексей не спал — сидел в кабинете, листал партитуру, пытался расшифровать следующие знаки. Савельев приехал к часу ночи, сказал: «Островский дома, свет не горит. Наши наблюдают».

В два часа — звонок.

Дежурный опер, молодой парень с испуганным голосом:

— Товарищ лейтенант, Островский мёртв.

— Что?

— Задушен. В своей комнате. У нас на глазах — мы вошли через минуту после того, как услышали шум. Убийца ушёл через чёрный ход.

— Кто?

— Не видели. Темно. Быстро.

Алексей выругался, набросил шинель.

В машине трясло. Он думал об Островском — о его дрожащих руках, о словах «я просто выживал». О том, что не успел.

Квартира была на втором этаже, в старом доме с облупившейся штукатуркой. Внутри пахло серой, мочой и страхом.

Островский лежал на полу, лицом вниз, руки скрючены, пальцы в крови — пытался разорвать верёвку. Верёвки не было. Его задушили — голыми руками? Шарфом?

На груди, на рубашке, кто-то вырезал ножом знак.

Скрипичный ключ.

Не меч, не клеймо. Музыкальный символ. Тонкий, изящный, почти каллиграфический. Будто убийца не торопился.

Алексей опустил на корточки. Потрогал руку — ещё тёплая.

— Убили час назад, — сказал Савельев. — Врач подтвердит.

— Что взяли?

— Убийца ничего не забрал. Комната не тронута. Только... вот это.

Он протянул клочок бумаги.

Нотный лист, вырванный из тетради. На нём — одна фраза, написанная чёрным карандашом. Не ноты — буквы.

«Он знал про альт. Теперь не узнает».

Алексей прочитал, спрятал в карман.

— Альт, — сказал он. — Островский говорил, что альт Лившица забрали люди Глухова. Значит, убийца знал, что Островский проболтался.

— Кто?

— Тот, кто кашляет. Молодой, с хрипотцой.

Он встал, посмотрел на тело.

Скрипичный ключ на груди.

— Что он хотел сказать? — спросил Савельев. — Это же не меч.

— Это намёк. Музыкальный. Для тех, кто понимает. — Алексей отвернулся. — Убийца — не новичок. Он оставляет подпись. Как Глухов — меч. Этот — скрипичный ключ.

— Может, он тоже из музыкантов?

— Может, из оркестра.

— Кто? Мы всех проверили.

— Не всех.

Алексей вышел в коридор.

Пустой, холодный, только запах кислой капусты из сосед-

ней квартиры.

Скрипичный ключ на груди Островского стоял перед глазами.

Он знал, что это значит: убийца был среди них. Среди тех, кто играл Седьмую симфонию. Среди тех, кто выжил в 1937-м.

И он будет убивать снова.

Глава 5. «Наши дни. Конв

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.